

пилить, я продолжал тянуть пилу, пока напарник сам не попросит остановиться на перекур. Мое положение осложнялось тем, что я часто страдал приступами мигрени. Как бы эти приступы меня ни мучили, санчасть не освобождала от работы. В такие дни приходилось особенно трудно, так как никто считаться с моей болезнью не хотел.

Шел 1964 год, последний год моего заключения. Я стал уже считать оставшиеся не годы, а месяцы. Но сейчас и месяцы тянулись долго, как годы. До последнего года я физически держался хорошо. Умывался ледяной водой по пояс, натирался снегом, закалился и никогда не болел. Но в конце срока сопротивляемость организма резко снизилась. Сказался голодный паек, тяжелый труд, постоянное нервное напряжение. Всю весну 1964 года я работал на улице, кругом стояли лужи талой воды. Сапоги были рваные, и ноги постоянно хлюпали в ледяной воде. У меня появились сильные боли в ногах. Бывали ночи, когда я из-за них не мог уснуть. Прimitивное лагерное лечение не помогало, и болезнь приняла хроническую форму. Я ждал уже с нетерпением своего звонка, то есть конца срока. Но в это время произошел очередной инцидент. К нам в зону прибыла группа новеньких заключенных из Ленинграда. Все они проповедовали славянофильство, но это их дело, и я к ним относился ровно, как и к другим подобным группировкам. Но однажды в рабочей зоне один из них разошелся и начал поносить Израиль и сионизм, пользуясь всеми штампами советской пропаганды. Я подошел к нему выяснить, в чем дело, что привело его в такое бешенство. Тогда он набросился на меня: "Я знаю, ты сионист! Вы издеваетесь над арабами! Вы хуже фашистов!" и все в том же духе. Разумеется, спорить с ним было бесполезно, так как язык логики и фактов был ему непонятен. Оставалось прибегнуть к другому методу убеждения. Когда прибежали другие заключенные и оттащили меня от него, он сразу же побежал на вахту. Пришел надзиратель и отвел меня в другую зону. Вечером меня вызвали на вахту и предъявили постановление на 10 суток карцера. К постановлению было приложено его заявление о том, что он подвергся нападению сиониста, и справка от врача о его кровоподтеках, сломанном зубе и о чем-то еще.

Раньше карцер находился за зоной, и туда приводили заключенных из всех прилегающих зон. Сейчас же у нас в зоне только что окончили строительство новенького карцера, и мне была оказана честь открыть его. В карцере меня раздели догола, забрали всю мою одежду, а взамен дали старые брюки и куртку. Телогрейку взять с собой не разрешили. Внутри карцера было ужасно холодно и сыро. На его грязно-серых стенах стояли капли воды. Меня заперли в одиночку. Камера была два метра в длину и полтора в ширину. К сырой стене был приделан и закрыт на большой замок деревянный щит, который служил нарами. В 11 часов вечера его опускали, а в 6 утра снова поднимали и запирали на замок. Посреди нар проходили две толстые железные шины вдоль и поперек, наверное, для мягкости. Кроме этих нар в камере не было ничего. Весь день приходилось сидеть на холодном и сыром цементном полу, пока конечности не окоченивали, а затем подыматься, бегать, прыгать на месте, чтобы как-то согреться. Это было в апреле. Стояли еще холода. Когда наступала ночь, становилось и того хуже — ночью были заморозки. Больше часа лежать на нарах с железными шинами и при жутком холоде нельзя было. Приходилось вскакивать и опять заниматься зарядкой, чтобы как-то согреться и выпрямить окоченевшее тело. Когда я обессиливал от прыжков и бега на месте, я снова валился на нары и сворачивался калачиком, чтобы подольше сохранить тепло. Горячую пищу давали через день. В один день давали хлеб, черпак супа, селедку и кипяток, на следующий — лишь кусок хлеба и кружку кипятка. Так проходил день за днем. Когда я вышел из карцера, вид у меня был как после тяжелой продолжительной болезни. Но пережил и это. Пока я сидел в карцере, битый славянофил попросил перевести его в другую зону, боясь мести. Когда я освободился, его уже в нашей зоне не было.

Нация воров, жуликов и махинаторов

В это время в лагерях было полно новых заключенных, и КГБ спохватился, что опять перегнул палку. На сей раз они решили освободить некоторую часть заключенных иным

способом. Когда раньше заключенных освобождали по жалобам, то этим самым признавалось, что приговор был слишком суров и несправедлив. Сейчас же они решили освободить тех, кому осталось досиживать уже немного, сохранив таким образом свою честь. Приезжали в зону представители КГБ из центрального аппарата, вызывали некоторых заключенных и предлагали им писать просьбу о помиловании. Этим самым заключенный как бы признавал себя виновным, а значит и осужденным справедливо; а представители КГБ и суда выглядели людьми гуманными и милосердными. Мне оставалось досидеть считанные месяцы. Вызвали и меня. Начали с общих бесед о настроении, о работе, а потом перешли к конкретному предложению. "Вы, — говорят они, — совершили тяжкое преступление. Но советская власть не мстит, а лишь старается человеку помочь встать на правильный путь и осознать свои ошибки. Вы отсидели уже более пяти лет. Мы полагаем, что если вы напишете просьбу о помиловании, в которой искренне изложите свои заблуждения, то соответствующие советские органы примут это к сведению и ограничатся отсиженным вами сроком". Я им ответил: "Если бы вы прочитали мое дело более внимательно, то вы бы поняли, что коль скоро я не признавал себя виновным на суде и в начале своего срока и во всех своих жалобах обвинял не себя, а органы следствия и суда, то уговаривать меня принять сейчас это смехотворное предложение — пустая трата времени". Они начали снова обвинять меня. Вы, мол, и сейчас не осознали свое преступление, учтите, мол, что при подобных взглядах и настроениях вам из лагеря не выйти. Затем они перешли к сути моего дела, увязывая его с текущими событиями. Один из них говорит: "Вот вы обвиняли советскую власть, весь русский народ в антисемитизме. Вот посмотрите, сейчас (это был период экономических процессов в стране) в газетах пишут об экономических процессах, и там постоянно фигурируют евреи, а русских там единицы. Они и валютчики, они и воры, они и жулики, и спекулянты. Так какое же может сложиться мнение у русского народа о евреях?" — И сам же ответил: "Что евреи — это нация воров, жуликов и махинаторов". На это я ему сказал: "Если следовать вашей логике, то посмотрите — в соседней зоне, зоне уголовников, где сидят

убийцы, бандиты, грабители, там в основном сидят русские, евреев там единицы. И какое впечатление может сложиться о русских у других народов? Что русские — это нация убийц, бандитов, насильников. Я так не считаю, но ваш метод оценки других народов приводит именно к этому заключению". Этим я задел их достоинство великороссов. "Вы опять клевете на русский народ, народ, который вас кормит, дал вам приют, спас от полного физического уничтожения, а вы — неблагодарная..." и еле удержался от продолжения. Это была моя первая и последняя встреча с кагебистами за все шесть лет лагеря. Через некоторое время нас опять уже в который раз перевели на 3-й лагпункт. Время тянулось мучительно долго. В своем карманном календарике я ежедневно зачеркивал еще один день.

Однажды октябрьским утром неожиданно по радио объявили о снятии со всех постов Хрущева. Администрация лагеря была совершенно растеряна. Начальники избегали встреч с заключенными, так как еще не знали, что отвечать на вопросы. Ждали указаний сверху. Замначальника лагеря по политчасти вообще три дня не появлялся в зоне. У многих заключенных появились иллюзии, что что-то изменится и они будут освобождены. Распускались разные слухи — "параши". Эти параши витали в зонах постоянно. И чем больше срок был у заключенного, тем больше он склонен был верить слухам. Он хотел верить им, так как лишь они давали ему призрачную надежду на быстрое освобождение. Но параши приходили и уходили, а заключенный оставался сидеть.

Мой срок подходил к концу. Я считал уже последние дни. Зачеркнутые в календарике числа все ближе подходили к заветному 8 декабря. 7 декабря друзья организовали мои проводы. Каждый принес все, что у него было, и устроили общий ужин. Нажарили черный хлеб на подсолнечном масле, напекли картошки, сварили кофе, у кого-то нашлась банка джема, и ужин в лагерном понимании получился на славу. Мы обменялись адресами и договорились о продолжении наших связей в будущем. 8 декабря утром меня вызвали на вахту с вещами, так как надзиратели хотели успеть обыскать меня еще до отхода поезда. Обыск был более чем тщательный. Все бумаги, книги были перебраны, меня

раздели догола и тщательно обыскали каждый шов одежды. Но опыт у нас уже был достаточный, и все, что надо было пронести, было пронесено. После обыска меня начали торопить одеваться и складывать свои вещи, чтобы я успел на поезд. Когда я переступил зону и шагнул на свободу, я еще не совсем ощутил и подавно не осознал той перемены, которая произошла.

Через дорогу находилась рабочая зона, и мои друзья стояли на высоких штабелях леса и махали мне руками. Я помахал им в ответ, и как-то особенно остро почувствовал их положение. Ощутил, что всего лишь несколько шагов отделяют меня от того мира, где я провел 6 лет, 6 лет от звонка до звонка. Мне было больно, что мои друзья не со мной. Они остались в малой зоне досиживать свой срок. Итак, я очутился в большой зоне.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА "РОДНОЙ" ЗЕМЛЕ

Новые друзья

В Минск я поехал через Москву. В каждом несчастье есть доля счастья. Благодаря лагерю у меня появилось много друзей и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Риге, и в других городах. Находясь еще в лагере, я поддерживал связь со многими из тех, кто освободился раньше меня. В Москве я сразу оказался в кругу своих лагерных друзей. Резкий переход от лагерного существования к шумной жизни в Москве меня несколько ошеломил. Меня водили в разные компании, в рестораны, на киностудию, где просматривали кинофильмы, не предназначенные для общего экрана. Я был еще как-то скован и не мог сразу переварить всю эту массу новых впечатлений. Четыре дня в Москве пролетели миготом. Все виденное мною вращалось перед глазами, как в калейдоскопе. На пятый день я уехал в Минск. В Минске я пробыл один день и сразу же уехал в Ригу, где меня тоже ждали лагерные друзья. Там я окунулся уже в чисто еврейскую атмосферу. Собиралась еврейская молодежь, устраивали вечера, на которых пели еврейские песни и танцевали еврейские танцы. Ходили в синагогу, ездили в Румбуле, где были расстреляны рижские евреи во время немецкой

оккупации и где впоследствии местные евреи, вопреки запрету местных властей, установили памятники. Позже Румбуле стало местом массового паломничества евреев со всех концов России.

В Риге я познакомился со многими еврейскими активистами. Я жадно впитывал новости об Израиле, по которым так соскучился в лагере. Погостив несколько дней, я собрался ехать обратно в Минск, где мне надо было оформить прописку, устроиться на работу и уладить еще ряд дел. Набрал сколько можно было еврейской литературы, я отправился на вокзал. Меня провожали мои друзья. Но на вокзале я заметил, что провожают меня не только друзья. Я это учел и, попрощавшись, сел в вагон. В Риге я сел в седьмой вагон. Я уже знал, что если меня провожали представители КГБ, то в Минске они обязательно меня будут встречать. Не доезжая до Минска, я перешел в тринадцатый вагон — мне было интересно, что они будут делать. На вокзале в Минске я вышел из вагона и сразу пошел домой. Меня же, очевидно, ждали у седьмого вагона, и для них я непонятным образом исчез. Они решили выяснить, приехал ли я домой или же застрял где-нибудь по дороге. Через час после того как я пришел домой, явился тип в гражданском и представился работником милиции. Он спросил у домашних, где я. Я вышел из комнаты и поинтересовался, в чем дело. Он начал что-то лепетать об устройстве на работу, о прописке, но было ясно, что его интересовало лишь, прибыл ли я. Убедившись в этом, он сразу же ушел. На работу меня брать не хотели. В течение двух месяцев я обивал пороги учреждений, но везде под разными предложениями мне отказывали. Руководители, страхуясь, посылали меня в вышестоящие организации или в райкомы партии, чтобы я принес оттуда направление на работу.

Для нас вы не реабилитированы

Примерно через месяц после освобождения я вдруг получаю решение Коллегии Верховного Суда СССР, в котором было сказано, что мое дело пересмотрено, обвинения не доказаны,

и я реабилитирован. Я не поверил своим глазам. Дело в том, что на протяжении трех последних лет заключения я не писал ни одной жалобы — и вдруг реабилитация! Я пошел к своему адвокату, мои друзья, работавшие с ним, выяснили, в чем дело. Оказывается, после того, как сняли Хрущева, начали пересматривать дела, связанные с ним, а так как в моем деле он фигурировал довольно явно, то оно попало на пересмотр. Как известно, ни на следствии, ни на суде обвинение в покушении на Хрущева доказано не было, но, несмотря на это, оно было включено в приговор отдельным пунктом лишь на основании агентурных данных. Сейчас они могли снять это обвинение, не боясь неприятностей. Понятно, что этот пункт о покушении был самым тяжелым. По сравнению с этим остальное — разные книжонки, сионистская пропаганда, встречи с работниками израильского посольства и иностранными туристами уже казались мелочью. В конце концов я был реабилитирован. После этого руководители учреждений могли уже смело брать меня на работу, и я устроился в городскую больницу старшим методистом по лечебной физкультуре. После реабилитации я попытался вернуть себе хотя бы изъятые у меня письма, книги и фотографии.

Я пошел в Верховный Суд СССР, который меня осудил, но там мне сказали, что мое дело хранится в архивах КГБ. В КГБ мне велели написать заявление и ждать вызова. Через несколько дней я получил повестку явиться в приемную КГБ. Там мне велели подождать, и через некоторое время пришел пожилой чекист с папкой в руках. Он раскрыл ее и сказал, что мне могут вернуть лишь небольшую часть фотографий и писем. В ответ на мое возмущение, мол, как же так, если я реабилитирован, то вы обязаны вернуть мне все изъятые вещи, он мне ответил: "Реабилитация эта лишь для вас, чтобы вы могли устроиться на работу, чтобы у вас не было чисто бытовых ограничений. Для нас же вы никогда не будете реабилитированы. С вас снято обвинение в покушении, но остальные пункты ведь остались. Кроме того, по существующему положению, даже если бы вы были и полностью реабилитированы, ваше дело должно храниться у нас вечно. И вообще, что вы так возмущаетесь? Люди по 20 лет зря сидели, и ничего, а вы каких-то 6 лет, и

уже строите из себя какую-то жертву". Когда я устроился на работу, уладил дела с пропиской и военкоматом, я начал присматриваться к окружению.

Минск в национальном отношении невыгодно отличался от таких городов как Москва и Рига. В Москве находилось израильское посольство и с ним можно было поддерживать связь, была большая синагога, где можно было собираться хотя бы по праздникам. В Москве проходили международные фестивали, конгрессы, выставки. В Москву приезжали со всех концов страны в командировки знакомые ребята. Не говоря уже о том, что в Москве жило около полумиллиона евреев. Рига была национальным островком в море ассимилированного еврейства. В Минске же всякое еврейское национальное самосознание и национальное достоинство были варварски уничтожены, а то, что осталось, было загнано в дальний угол и прижато русским сапогом. Но сейчас даже в Минске атмосфера изменилась. Народ начал просыпаться от полувековой спячки. Появился интерес к еврейству, к Израилю. Люди, которые раньше избегали всего национального, начали поворачиваться к нему лицом, особенно молодежь. Это можно назвать чудом. После пятидесятилетнего существования советской власти, которая делала все возможное, чтобы выжечь национальную сущность еврейского народа, у русского еврейства, особенно у молодежи, произошло возрождение национального самосознания. В мироощущении совершенно ассимилированных молодых людей, у которых даже родители были ассимилированы, не получивших никакого национального воспитания, не знающих ни национальных традиций, ни еврейской культуры, ни языка, пробудился дух их далеких предков.

Я не могу сказать, что современная сионистская молодежь Советского Союза является прямым наследником старого сионистского поколения. Наоборот, многие из них — внуки совершивших революцию в России, дети строивших советскую власть. Чем же все это можно объяснить? Сделаем экскурс в недалекое прошлое. В послереволюционный период, когда с евреев был снят ряд ограничений — черта оседлости, процентные нормы и другие, у значительной части еврейства возникли наивные надежды, что с решением социального вопроса сам по себе решится и национальный.

Самое трагичное, что многие из них совершенно искренне верили в это. Это был период вульгарного интернационализма. Еврейство России тогда даже не подозревало, что оно является той временной силой, которая нужна революции лишь до тех пор, пока у нее не появятся свои национальные кадры, после чего оно будет выброшено за борт всякой политической, государственной и общественной жизни страны. Больше того, в последующие годы оно явится громоотводом при различных внутренних кризисах. Многие из них сейчас, на склоне своих лет, это поняли и в частных беседах плачутся: "Кому, за что мы отдали свою жизнь, свои силы, свой талант, получив взамен лишь унижения, оскорбления и бесперспективность для своих детей и внуков?" Но эти старые люди, коммунисты и беспартийные, все же корнями своими были связаны с советской Россией, ибо она была их детищем. Не у каждого хватало мужества порвать с прошлым — ведь это значило перечеркнуть всю свою жизнь. Молодежь была свободна от этого и поэтому решительно повернулась к своему народу, к своему Израилю.

Одной из самых важных причин такого поворота еврейской молодежи является комплекс гражданской неполноценности. В Советском Союзе постоянно проводится широкая пропаганда великодержавного шовинизма. Всячески превозносится русская культура, русская наука, русское искусство, русские спутники. Русский человек — воплощение всех достоинств. И еврейский юноша где-то чувствовал, что к нему это не относится, что он все-таки не русский. О евреях же он знал лишь из антисемитских рассказов и анекдотов, где еврей — всегда карикатурный тип: он и хитер, он и трус, он и слаб, он и жаден, и тому подобное. Такое представление о евреях типично для русских. Желая сделать мне комплимент, они говорили: "Какой же ты еврей? Ты же совершенно не похож на еврея!" На мой вопрос, каким же они представляют себе еврея, они рисовали портрет: "Ну, такой маленький, узкоплечий со впалой грудью" или "толстый, с длинным носом и обязательно картавый". Я приводил им примеры наших общих знакомых, перебирая десяток-другой евреев, не похожих на этот портрет. Тогда они начинали задумываться и соглашались. Но и тут они не сдавались: "Портрет этот все-таки похожий,

но устаревший. До революции евреи были именно такими, и лишь советская действительность их изменила к лучшему". Иными словами, подняла их до уровня русских.

"Они" и "наши"

Еврейская молодежь видела, что у всех народов есть своя история, своя культура, свой язык. Даже самые маленькие народы, насчитывающие несколько десятков тысяч человек, имеют свой язык, свои школы, свою литературу. Евреи же здесь всего этого лишены. (Вся еврейская литература начиналась и кончалась Шолом Алейхемом). Им постоянно напоминали, что русский народ — старший брат малых народов. Всячески давали им почувствовать, что они здесь чужие, что здесь они на правах пасынков, что они нерусские. Даже крупные ученые, ответственные работники, вплоть до министров, у которых в подчинении было много неевреев, даже они среди людей такого же положения постоянно чувствовали этот комплекс. С другой стороны, этот комплекс гражданской неполноценности заставлял евреев быть на голову выше нееврейских коллег, чтобы дать почувствовать, что в них нуждаются. Это могло как-то компенсировать их неуверенность в завтрашнем дне. Все это убеждало еврейскую молодежь, что здесь они не у себя дома, а на правах квартирантов. Они на своей шкуре испытывали известное правило: если украдет русский, то говорят, что украд вор, а если украдет еврей, то говорят, что украд еврей.

Они начали осознавать, что и у евреев есть свое государство, государство, которое одним своим существованием разбило многовековое представление о евреях, которые не хотят работать, не могут воевать, а способны лишь жить паразитами на теле других народов. Они слышали об огромных достижениях этого государства в экономике, культуре, науке и особенно об успехах его армии. Это очень ярко проявилось во время Шестидневной войны. Она послужила катализатором в пробуждении сознания еврейства. Люди привыкли слышать, что евреев бьют, над ними издеваются,

что они трусы, не умеют воевать, и вдруг они услышали противоположное — евреи кого-то бьют, евреи над кем-то издеваются, евреи побеждают, да еще как! И у них появилось, у некоторых подсознательно, чувство национальной гордости. Оказывается, и они народ, как все народы. Они распрямили спину, подняли голову и обратили свои взоры к своей далекой и в то же время ставшей столь близкой родине — Израилю. Помню, накануне Шестидневной войны, когда вся советская пропаганда кричала о готовящейся израильской агрессии, у меня на работе многие ассимилированные евреи возмущались: "Подумай, Толя! Куда они лезут? Чего им надо там? Сидели бы спокойно, пока их не трогают. Ведь их же раздавят, как козявку!" Но через три дня, когда стало известно о полном разгроме египетской авиации и об успехах израильской армии, те же евреи, встречая меня, радостно взволнованным голосом, правда еще с оглядкой, говорили: "Ты слышал, Толя, как там наши дали! Какие молодцы!"

Еврейская молодежь стала задумываться — кто же мы, евреи, такие? Что такое Израиль? Она начала жадно искать всякий материал, откуда можно было бы что-то узнать. Но в Советском Союзе это не так-то легко найти. Литература по еврейской истории, культуре давно уже не издается, а все, что осталось после уничтожения, хранится в центральных библиотеках нескольких городов, и достать это очень трудно. Кроме того, малейшее проявление интереса к еврейству вызывает подозрение. Все, что у русского, украинца, литовца или грузина называется чувством национальной гордости, национального самосознания, для еврея квалифицируется как буржуазный национализм. Несмотря на это, еврейская молодежь перебирала горы старой литературы. Читали и переводили статьи и заметки из левой зарубежной прессы, что удавалось достать. Регулярно слушали радиопередачи из-за рубежа — Би-Би-Си, Голос Америки и, конечно, Кол Исраэль. Эти радиопередачи часто глушат и слушать их приходится рано утром или поздно ночью. Чтобы можно было слушать Голос Израиля, приходилось переделывать радиоприемник, так как начиная с 1960 года в советских радиоприемниках многих марок была пропущена волна, на которой вел передачи Кол

Исраэль. Очень популярны стали среди еврейской молодежи еврейские песни и танцы. Если кто-либо доставал пластинку с еврейскими песнями, то ее сразу же переписывали на магнитофонную ленту. Эта лента передавалась другим для переписки и в короткое время распространялась в сотнях экземпляров во многих городах. Еврейская молодежь разгуливала по городу с портативными магнитофонами, из которых громко звучали еврейские мелодии. Нужно знать Советский Союз, его атмосферу в недалеком прошлом, чтобы по-настоящему оценить это. Для большинства это было не просто увлечение — это стало смыслом их жизни. Целью нашей было донести до еврейской молодежи правду о своем народе, правду об Израиле. И противопоставить эту правду грязным потокам официальной пропаганды. Мы стремились пробудить в ассимилированных евреях чувство национального достоинства, чувство национальной гордости и в конечном итоге подготовить их к возвращению на свою историческую родину — Израиль. Каждая вещь, которая попадала к нам из Израиля, какая-нибудь незначительная безделушка, приобретала символический характер, являлась чем-то священным. Однажды я достал пачку израильских сигарет, и мы в своей компании курили одну сигарету, пуская ее по кругу. Я привез с фестиваля бутылку израильского вина Кармель, и его пили чисто символическими дозами, а когда оно кончилось, наливали в эту бутылку обыкновенное вино и ставили в центре стола как украшение.

Есть авангард. Это люди, которые целиком отдали себя делу национального возрождения. Они готовы пройти тюрьмы и лагеря, лишь бы обрести свою родину. Это выкристаллизовавшееся острие пробило брешь в железном занавесе Советской России.

В значительной части евреи, которые хотят уехать, еще не рискуют потерять то, что у них есть, и ждут более подходящего момента, когда после подачи документов им будет гарантирован выезд. У многих из них семьи, дети, и они сравнительно неплохо устроены. Боязнь обречь свою семью на нужду и страдание заставляет их пока воздерживаться от активной деятельности.

Есть евреи, которые находятся лишь в стадии национального пробуждения, их позиции еще не сформировались.

Есть, как и в каждом народе, люди беспринципные, приспособленцы, для которых не существует ничего святого. Все их помыслы, вся энергия сфокусированы на своем "я" — как бы лучше пристроиться, приспособиться и обеспечить свое благополучие. Их принцип — беспринципность.

Важную роль в пробуждении национального самосознания евреев играет советский государственный антисемитизм. Он, собственно, никогда не исчезал в Советском Союзе. Он менял лишь свои формы в зависимости от исторической обстановки. Ленин и Сталин были прежде всего революционеры-практики. В послереволюционный период, когда основная масса русской интеллигенции и русского чиновничества эмигрировала или была уничтожена, евреи по сравнению с отсталым безграмотным русским крестьянством являлись образованной и прогрессивной прослойкой. Кроме того, многие евреи, находясь под двойным — социальным и национальным — гнетом в царской России, видели в революции единственный выход из своего крайне тяжелого положения. Поэтому они были столь активны в революционном движении. Но как только в них отпала необходимость, их начали вытеснять под различными предлогами. В дальнейшем антисемитизм стал проявляться в более открытой и грубой форме. Многие правила и приличия были отброшены. Антисемитская пропаганда, явная и тайная, проводится в самых широких масштабах. Для этого используются как официальные средства пропаганды, так и аппарат распускания антисемитских слухов и инсинуаций. Если в печати говорится о каком-нибудь герое, крупном ученом или известном деятеле искусства еврее, то скрывается его происхождение. Это советский герой, советский ученый, советский деятель искусства. Но зато стоит попасть еврею в печать за какие-нибудь грехи, как здесь уже советская пропаганда из кожи лезет вон, чтобы подчеркнуть его еврейское происхождение. Если его фамилия и имя не типично еврейские, то обязательно будет назван какой-нибудь его родственник, у которого характерное имя. Периодически проводятся широкие антисемитские кампании под разными девизами: борьба с космополитизмом, борьба с

валютчиками, с сионизмом, но сущность их одна: борьба с еврейством и разжигание антисемитских страстей. Понятно, если на знамени государства начертано "равенство, братство, интернационализм", то оно не может проводить открыто свою антисемитскую политику под лозунгом "Бей жидов, спасай Россию!" Поэтому они прибегают к другим девизам. Но ведь даже небезызвестный Пуришкевич проводил свою антисемитскую борьбу под лозунгом борьбы с инородцами. Планомерная работа гигантского пропагандистского аппарата дала свои результаты. Можно с уверенностью сказать, что большинство населения Советского Союза заражено антисемитской бациллой. Это проявляется по-разному в зависимости от обстоятельств и личности.

Антисемитизм можно условно разделить на три вида. Первый — это животный антисемитизм, когда уже еврейский профиль или еврейская фамилия вызывают лютую ненависть и стремление к физической расправе; второй — антисемитизм тех, кто занимают ответственные посты и являются носителями официальной политики правительства. Они противники физической расправы над евреями, они против погромов и грубой антисемитской пропаганды по гитлеровскому образцу, так как это прежде всего невыгодно для Советского Союза. Но они твердо убеждены, что евреев надо держать в ежовых рукавицах, что евреи должны работать на Россию, на русскую науку, на русскую культуру. Евреи должны быть слугами России, отдавать ей все свои силы, весь свой талант, не получая как нация взамен ничего. Они считают, что евреям доверять нельзя, и они должны быть под постоянным контролем. Еврей может быть замом, помом, но только не первым лицом. Третий вид — антисемитизм масс, которых не интересует ни политика, ни социальные вопросы. У них одна забота — как получше устроиться, как побольше заработать, получить квартиру, выпить. Но при случае, если бьют еврея, они с удовольствием приложат к этому руку. У них сразу срабатывает инстинкт извечной ненависти к жидам. Особенно ярко это проявилось на оккупированных немцами территориях. В зависимости от среды еврей сталкивается с одним из этих видов антисемитизма. Сталкивается всегда, хотя некоторые евреи пытаются этого не замечать.

Часто еврейские ученые пишут доклады для русских, которые ездят на международные конгрессы. Для получения Государственной или Ленинской премии еврейский ученый нередко привлекает в соавторы русского только потому, что легче будет "протолкнуть" свой труд.

Особенно я интересовался еврейской молодежью. У меня появился новый круг друзей и знакомых. Я знал, что за мной следят, и мне не раз давали это почувствовать. Я не имел права подвергать опасности ребят, которые еще не были запятнаны в глазах КГБ. У меня уже был некоторый опыт конспирации, я прошел хорошую школу следствия, суда и лагеря. Поэтому я намеренно не создавал большие группы, не знакомил людей друг с другом и не хотел, чтобы все, кто был связан с моими друзьями, знали меня. У меня были ребята, с которыми я общался, снабжал их литературой, информационным материалом, а они, в свою очередь, распространяли его в своем кругу. Прежде чем дать им что-либо, я всегда их инструктировал, как вести себя в случае провала, рассказывал о методах допроса. Я советовал им инструктировать своих друзей, прежде чем давать им что-нибудь "крамольное". Дальнейшее показало, что благодаря такой профилактике я и другие ребята избежали тюрьмы. Литература распространялась по "молекулярной системе". Бывало, мне под большим секретом предлагали дать почитать одну из моих книжонок. Некоторым можно было сразу давать израильскую литературу, Жаботинского — они уже были подготовлены к этому, другие же вначале боялись брать что-либо израильское — они еще не освободились от страха прикоснуться к иностранному, но уже проявляли интерес к еврейству, его истории, его культуре. К ним я приходил с магнитофоном и записями еврейских песен. Некоторые израильские песни были популярны не только среди еврейской молодежи — их исполняли даже на открытых эстрадах, например "Тум балалайка", "Хава нагила". Интерес молодежи ко всему еврейскому с каждым днем рос. Позже они сами приходили ко мне и просили дать что-либо почитать об Израиле, просили рассказать последние новости. Особенной популярностью пользовался у молодежи Жаботинский. Его фельетоны, написанные более полувека назад, были настолько актуальны, что казалось, будто они написа-

ны вчера. Их размножали разными способами и широко распространяли. Сам облик Жаботинского, политического деятеля и писателя, публициста и солдата, его мужество и прямота, его беспредельная преданность сионизму вызывали всеобщее восхищение и гордость. Мы гордились, что являемся его соплеменниками.

Для приобретения нужного материала часто приходилось ездить в другие города, где у меня были лагерные друзья. Иногда для того, чтобы поехать куда-нибудь, мне приходилось сдавать кровь в качестве донора. Это давало мне два дня отпуска в дополнение к выходному дню. Литература была разная — журнал "Шалом", календари, израильские справочники, карты, проспекты израильских выставок, кинофестивалей, самиздатовские вещи. Иногда доставали зарубежные издания с еврейской тематикой. Например, сразу же после Шестидневной войны я достал французский журнал "Экспресс", посвященный Шестидневной войне. Все статьи были переведены на русский язык, размножены и распространены, а с обложки было переснято огромное число фотографий Даяна.

Грозит третья посадка

У меня был хороший знакомый, в прошлом крупный инженер-энергетик, а сейчас пенсионер. Он жил еврейством, отдавал свое время пропаганде сионизма, хотя его семейная обстановка не благоприятствовала этому. Мы с ним часто встречались, обменивались информацией и литературой. Но его засекли, и за ним началась слежка. Однажды он дал какой-то машинистке перепечатать материалы о Шестидневной войне, которые я ему принес. Этот материал был у нее похищен, как позже оказалось, агентами КГБ. Через несколько дней я поехал в Ригу к своим друзьям. Я узнал, что некоторых из них вызывали в КГБ, допрашивали и расспрашивали о многих, в том числе и обо мне. Я решил сократить свой визит и сразу же вернуться в Минск, чтобы предупредить ребят и убрать из дома все, что могло бы служить вещественным доказательством для обвинения. Когда я

вернулся домой, я сразу же позвонил одному из ребят, чтобы предупредить о случившемся и предложить ему принять некоторые меры предосторожности. Не успел я ему изложить все это, как он меня ошарашил новостью, что арестовали моего пожилого знакомого. Я с ним тут же договорился о конспиративной встрече в тот же вечер. Звонил я, конечно, не с домашнего телефона и не ему домой. Я сразу же поехал к себе. У меня скопилось много книг, журналов, самиздата — все это надо было немедленно убрать из дому. Но как и когда-то, рука у меня не подымалась что-либо уничтожить — слишком свято это было для меня, слишком дорого мне это стоило. У меня были знакомые, общение с которыми я сводил до минимума и держал их на всякий случай, в резерве. Здесь они мне весьмагодились. Это были люди абсолютно честные, которым я полностью доверял. Я позвонил им, они пришли в больницу, где я работал, и там, соблюдая все меры предосторожности, я им передавал эту литературу. При этом я их предупредил, как вести себя, если придут. Они должны были сказать, что я передал им этот закрытый на замок чемоданчик с домашними ценностями, на временное хранение, так как боялся хранить их на квартире, которую временно снимал у частного лица. Вечером я встретился со своим другом, который первый мне сообщил об аресте моего знакомого. Сообщивший был железным парнем, абсолютно честным, стойким и беспредельно преданным сионизму. Я просил его предупредить всех своих ребят, чтобы они убрали из дому всю крамолу. Я еще раз проинструктировал его, как вести себя на допросах, так как был уверен, что рано или поздно его вызовут. С другими своими друзьями и знакомыми я тоже провел инструктаж. Одного из них, к счастью, за несколько месяцев до этого ареста взяли в армию, и он со своим кругом ребят выпал из поля зрения КГБ.

Этот арест изменил все мои планы, и я срочно поехал в Москву предупредить друзей о случившемся. Слежка за мной значительно усилилась и приходилось прибегать к различным маневрам, чтобы как-то оторваться от преследователей. В тот же день я встретился с женой арестованного, чтобы посоветовать, как лучше вести себя на следствии. До этого она препятствовала сионистской деятельности мужа.

Она работала учительницей в школе и через два года собиралась выйти на пенсию. Она очень боялась, как бы ей это не помешало доработать оставшиеся годы. Но ее, оказывается, уже допросили в день ареста мужа. Случилось то, чего я больше всего боялся. Они ее очаровали. Это случилось со многими свидетелями, которые думали, что в КГБ на допросе на них сразу же набросятся с кулаками, грубой бранью, угрозами. Но опытные чекисты были предупредительными, вежливыми, пересыпали свои вопросы шутками, создавали непринужденную, чуть ли не дружескую обстановку. Наивным свидетелям казалось, что это их искренние друзья, которые хотят помочь им и их арестованному родственнику или знакомому. Но тон был дружеским лишь до тех пор, пока свидетели не подписывали протокол допроса. После этого игра прекращалась, и свидетели с ужасом обнаруживали, что они коварно обмануты.

Восторгу ее не было предела. Какие они вежливые, галантные, обаятельные, это уже не те чекисты, которые были в сталинские времена. Они не заинтересованы в аресте ее мужа, и она убеждена, что они искренни. Поэтому лучше всего быть с ними откровенными и говорить всю правду. К счастью, она знала очень немного из этой правды. После суда она, заливаясь слезами, говорила: "Как вы были правы! Кто бы мог подумать, что они могут так жестоко меня обмануть! Как они потом на меня кричали, ругали и грозили самым грубым образом! Куда девался их прежний шарм!" Я узнавал, что вызывали на допросы моих друзей и знакомых из разных городов, но меня пока не трогали. Разумеется, не все знакомые мне признавались, что их вызывали в КГБ и подробно расспрашивали обо мне, так как после допроса их предупреждали: "не разглашать". Дважды вызывали и этого железного парня, но он держался великолепно. Все, о чем мы договорились, он выполнил блестяще. Угрозы и шантаж на него не действовали. Кагебешники приводили конкретные факты, показывали мои фотографии, называли точное место и время наших встреч, но на все это он отвечал твердым "нет!". Вызывали и его отца, но у того уже был опыт — он отсидел много лет в тюрьмах и лагерях в сталинские времена — и от него они тоже ничего не добились. Было ясно, что сейчас они

ведут подкоп под меня, так как вызывали свидетелей, которые ничего не знали об арестованном, но были связаны со мной. Прошло 5 месяцев после этого ареста. Были вызваны десятки свидетелей, но меня пока не трогали, а лишь неотступно следили за мной. Допросили большинство тех, кто был как-то связан со мной. Я чувствовал, что круг сужается. Начали вызывать моих сотрудников, в том числе тех, с кем у меня было мало общего. Было ясно, что, зная о моем опыте, о том, что взять меня старыми методами будет трудно, они старались наскрести побольше показаний, вооружиться множеством фактов, чтобы потом прижать меня в угол и заставить признаться. Зная мужество и честность арестованного, я был уверен, что он выдержит нажим следователей и не расколется. В некоторых свидетелях я не был уверен, но меня несколько успокаивало, что они знают не так уж много. Я чувствовал, что главврач больницы уже в курсе событий. Его отношение ко мне вдруг резко изменилось. Всех свидетелей, как правило, увозили неожиданно с работы или хватали на улице, что само по себе было противозаконным, так как свидетелям полагается заранее прислать повестку. Все время я находился в нервном напряжении, наблюдая каждый день, как они дежурят возле моего отделения, слыша почти ежедневно, что кого-то еще вызвали и допрашивали обо мне. Я хорошо знал, что если еще раз попадусь, то получу срок на всю катушку, и pošлют меня в лагерь особого режима. Я с нетерпением ждал, когда уже, наконец, меня вызовут, и мое положение прояснится. Что меня вызовут, я не сомневался. Наконец, пришел мой черед. В один из дней октября, когда я пришел на работу, меня вызвал начальник отдела кадров и вручил повестку о том, что я должен явиться в тот же день в КГБ к 10 часам утра. Со мной они действовали не так, как с другими, а по закону. Я пришел в хорошо знакомый мне дом, оформил пропуск и переступил порог, не зная, выйду ли обратно. В вестибюле меня встретил старший следователь подполковник Горшков, как он мне представился. В кабинете кроме него находилось еще два человека. Он мне их представил. Один из них — его помощник, второй — зам. главного прокурора республики. Его присутствие с начала до конца на всех допросах еще раз показало, что со мной

они стараются соблюдать законность, зная, что порядок следствия мне хорошо известен. Я был внутренне подготовлен к встрече. Зная по опыту, что их цель — получить нужные показания любыми средствами, я решил категорически отрицать все факты, даже самые мелкие, даже те, которые подтверждаются свидетельскими показаниями и уликами. Известно, что любая попытка на допросе как-то объяснить свои действия, оправдать их, придать им случайный характер или сказать полуправду — всегда в протоколе следователя будет звучать как "да". Если же категорически отрицать все, даже если это выглядит наивно и неправдоподобно, даже если это воспринимается как нахальство, то "нет" всегда останется "нет". Я твердо решил придерживаться этой тактики, зная, что при нынешней ситуации лишь она даст мне шансы избежать ареста. Вначале они вели общие разговоры, расспрашивали о работе, о личной жизни. Я их сразу же прервал: "Я в этих стенах не новичок, как вам известно, и знаю, что вас меньше всего интересует моя личная судьба, работа и семейная жизнь. Поэтому я предлагаю опустить вступление и перейти к делу". Они последовали моему совету, и начали сразу допрашивать об арестованном. Я ответил, что знаю его, иногда бывал у него дома, но ничего больше. Тогда они начали сыпать такими подробностями, которых кроме него никто не знал. Вначале я думал, что это результат подслушивания. Мне не хотелось верить, что он раскололся. Я твердо придерживался своей тактики и все категорически отрицал. Мне приходилось грубо врать, изображать из себя нахала и циника, но понимание того, где я нахожусь и с кем разговариваю, нравственно меня оправдывало. Это продолжалось до 6-ти часов вечера. Старший следователь выписал мне пропуск: "Сегодня я вас отпускаю. Идите домой. Но еще раз подумайте — своим тупым упрямством вы сами роете себе могилу". Я вышел обессиленный от того огромного напряжения, которое потребовалось, чтобы выдержать их натиск. На улице меня ждали ребята. Я их ввел в курс дела и поехал домой отдыхать. Назавтра продолжалось то же самое — новые факты, новые доказательства. Мое упрямство выводило их из себя. Они запретили мне курить, а я, в свою очередь, отказался отвечать. Я требовал, чтобы они писали

протокол слово в слово, как я им говорил. Иногда следователь со злобой рвал протокол и предлагал мне самому записывать свои ответы. Он кричал, что он не мой личный секретарь. По всему видно было, что они стараются связать меня с другими городами, особенно с Ригой. Но в Риге мы договорились, что я знаю лишь двух человек, с которыми сидел вместе в лагере, а с остальными рижанами не знаком.

По всему чувствовалось, что мой следователь — специалист по еврейскому вопросу. Он прекрасно знал историю советского еврейства, знал многих еврейских деятелей. На стене в его кабинете висела огромная карта Ближнего Востока. Как-то он мне говорит: "Ну что ваша литература! Книжонки, брошюрки, какие-то рукописи. У меня вот есть книжки получше", и, открыв огромный сейф, вытащил оттуда стопку израильской литературы на иврите, идиш и русском языках. "Вот видите, при случае я бы мог вам дать почитать ее. А здесь, между прочим, есть много интересно-го". Я ему отвечаю: "Можете не сомневаться, что такого случая вам не представится".

Так продолжалось день за днем, с десяти утра до шести вечера. Я выходил из этого здания настолько измотанным, что в автобусе по дороге домой засыпал от усталости. Но вместе с тем у меня было чувство удовлетворения, что и сегодня я выстоял под их напором, что им не удалось меня сломать, поймать на слове, что мне удалось обойти все расставленные ими хитроумные ловушки, которые они заранее приготовили. Мне все не хотелось верить, что арестованный раскололся, и я требовал очной ставки. Я говорил, что хочу услышать все это от него самого. Они мне говорили, что очная ставка будет не в мою пользу. Увы, они оказались правы. На пятый день допроса, после очередной неудачной попытки прошибить меня, они устроили мне очную ставку с арестованным. На очной ставке присутствовал старший следователь Горшков, его помощник и зам. главного прокурора республики. Они меня предупредили, что я не имею права непосредственно разговаривать с подследственным. Все вопросы и ответы я должен передавать только через старшего следователя, который вел очную ставку. Говорить я могу только с его разрешения. Все это было мне известно и раньше. Ввели в кабинет арестован-

ного. Увидев меня, он растерялся, покраснел, потом побледнел. Он отек, зарос щетиной, тяжело дышал, глаза — бегающие. Вид у него был весьма жалкий. Его усадили, и очная ставка началась. Вначале его спросили, знает ли он меня. Он ответил, что знает. На тот же вопрос, заданный мне, я ответил то же самое. Спросили его, в каких мы были отношениях. Он ответил — в дружеских. Я ответил — в хороших. Затем подполковник, обращаясь к арестованному по имени-отчеству, спросил: "Скажите нам, какую идеологически вредную литературу давал вам Рубин?" Я допускал, что его обманули, что агентурные данные ему преподнесли как мои показания, а он, полагая, что я все равно рассказал им все, решил тоже ничего не скрывать и рассказать все, как было. Поэтому я решил в нарушение очной ставки и невзирая на последствия, предупредить его, что я ничего им не сказал. Я надеялся, что тогда он откажется от своих показаний. Он еще не начал отвечать, как я вместо него, изображая возмущение, быстро ответил: "Никогда ничего подобного я ему не давал". Тут все они вскопили и заорали: "Замолчать, прекратите балаган! Вы прекрасно знаете правила очной ставки!" Посыпались угрозы. Но главное было сделано — он узнал, что я им ничего не рассказал и все отрицаю. Когда они немного успокоились, Горшков, который вел очную ставку, еще раз повторил ему вопрос. Последовала довольно длинная пауза и... мой знакомый начал все рассказывать с такими подробностями, каких я сам уже не помнил. Он точно называл, когда и что я ему приносил, называл страницу, где была какая-нибудь опечатка, цитировал, что я ему при этом говорил. Я был ошеломлен. Он подробно рассказал, как мы с ним познакомились, кто нас познакомил, и тоже со всеми деталями. После того, как он окончил, Горшков обратился ко мне: "Ну, что вы можете на это сказать?" Я ответил, что это просто оговор, что я не понимаю, почему он меня оговаривает, но все, что он здесь излил, является от начала до конца выдумкой. Арестованного увели, и Горшков еще раз спросил меня, как я сейчас смотрю на все это, после того, как они удовлетворили мою просьбу и дали очную ставку. Я повторил, как и прежде, что все это клевета, а почему он клеветает, я и сам не понимаю. "Я считал его честным человеком, а что вы

здесь с ним сделали, для меня является загадкой". Мне угрожали: пока еще разговаривают со мной как со свидетелем, а не как с подсудственным, но положение может измениться. Грозили, что им ничего не стоит отменить мою прошлую реабилитацию. Один звонок в Москву, в Верховный Суд, и реабилитация будет отменена. Вместе с тем они похвалялись своим либерализмом — мол, если бы это было 10 лет назад, когда меня в первый раз арестовали, то я давно бы уже был в камере, а не дома. Я им отвечал, что понимаю, что нахожусь в их руках, что их власть почти неограничена. "Вы можете сделать со мной все, что вам угодно, но я вам в этом помогать не намерен. Если вас не устраивают мои ответы, то не пишите их, а если пишете, то пишите только то, что я вам отвечаю". Иногда они старались расположить меня к себе, пытались беседовать по-дружески, делали мне комплименты, но все это было дешевой игрой. Допросы превратились в своего рода соревнование — кто кого. Они прекрасно понимали, что я неискренен с ними, так же, как и они со мною. Соревновались, кто выдержаннее, хитрее, ловчее. Когда меня попросили рассказать им что-нибудь просто так, не для протокола, то я им прямо сказал, что еще в прошлый мой арест я твердо усвоил первую заповедь заключенного — не верь следователю. Он вскопчил и заорал: "Это вы из Мордовии привезли!" Я говорю: "Да, из Мордовии. Я должен быть вам благодарен, что так хорошо усвоил мордовскую науку". И еще я его поблагодарил, когда он меня упрекнул за визиты к своим друзьям-единомышленникам в других городах: "Это тоже благодаря вам, благодаря Мордовии у меня появились друзья в разных городах Союза. И сейчас у меня есть куда и к кому поехать".

По городу распускали самые невероятные слухи. Говорили, что готовится процесс над евреями, что евреи собирали деньги и золото и переправляли его в Израиль, что корабль "Эйлат" был куплен на собранные евреями деньги, и еще всякое.

На шестой день, в конце допроса Горшков, уже окончательно выйдя из себя, заявил: "Все, я отказываюсь иметь с вами дело. Пусть теперь вами занимается прокуратура и руководство комитета". Я ушел. Ушел, но мое состояние было по-прежнему напряженным. Дело мое еще не было закончено, и они вполне могли вызвать меня на суд и там —

прецеденты были — взять под стражу. Но во всяком случае я убедился, что моя тактика подпольной работы и поведения на следствии полностью себя оправдала. Многие ребята, которые не были связаны со мной прямо, остались вне поля зрения КГБ. Их не допрашивали, и у чекистов было меньше возможностей получить на меня дополнительный материал. Инструктаж, как вести себя на допросах, тоже существенно помог. Если у ребят хватало воли и мужества выдержать нажим следователя, то они ошибок не делали. Многие вели себя исключительно мужественно. Мое поведение объясняется моим опытом. Но другие встречались лицом к лицу с КГБ впервые, были среди них и студенты, которые знали, что даже в лучшем случае их выгонят из института. Несмотря на это, они держались прекрасно. Я убежден, что спасло меня на следствии мое упрямое "нет" — не был, не говорил, не знал. Это надежнее, да и легче. Если будешь умничать, лавировать, говорить полуправду, то в итоге в протоколе окажется "да". Я усвоил простую истину: если дашь дьяволу палец, то он всю руку отхватит. После окончания следствия прошло почти два месяца. Все время мое положение было неясным. Все, что мне удалось узнать через знакомых адвокатов — это то, что на меня было частное определение. От неопределенности, постоянной слежки и напряжения я ужасно устал и ждал хоть какого-нибудь конца. Суд назначили на декабрь. Многие свидетели получили повестку явиться на суд, но не я. Тогда я понял, что дело мое закрыли. Вызывали свидетелей, которые дали показания, но так как я показаний никаких не давал, то смысла вызывать меня на суд не было. Но я, конечно, все равно пришел на суд, хотя в зал судебного заседания меня не впустили. Стоя за дверью, я слышал, как адвокат подсудимого старался всю вину свалить на меня. Вызывали много свидетелей с прежней работы подсудимого, его знакомых, которых я даже не знал. Многие из них вели себя не лучшим образом. Некоторых из них выгнали с работы, были среди них и коммунисты, которых исключили из партии. Защита собрала все прошлые заслуги подсудимого, все награды. В свое время он создал в Белоруссии всю энергосеть, у него было много трудовых орденов и грамот. Суд учел это, а также его пожилой возраст, и ограничился полутора годами лагерей строгого режима.

Убирайся в свой Израиль

После вынесения приговора я побежал к телефону звонить в Ригу о результатах суда. В ответ мне сообщили приятную новость — начали давать разрешения на выезд в Израиль. Я бросил все и поехал в Ригу. Вся еврейская Рига была возбуждена, многие затребовали вызовы. Организовывались шумные проводы, все разговоры были только об Израиле, об алие. Я проводил кое-кого из своих друзей и просил, чтобы мне срочно выслали вызов. Через три недели я его уже получил и сразу же пошел в минский ОВИР: "Вы принимаете документы на выезд в Израиль?" Мне отвечают: "Да, принимаем". Я спрашиваю: "Но ведь еще недавно не принимали?" — "Да, — говорят они, — раньше не принимали, а теперь есть указание принимать". Я тут же взял все анкеты, которые нужно было заполнить, узнал, какие еще требуются документы, и запустил колесо оформления. Я забегал по разным организациям для получения всяких справок. От меня потребовали, чтобы я уладил свои дела с пропиской, потому что был прописан по одному адресу, а жил по другому. Сделал нужные фотографии, уплатил необходимую сумму денег — благо тогда евреев продавали еще по дешевке — всего по сорок рублей за голову. Необходима была характеристика с места работы — как будто это имело для ОВИРа значение: если хорошо работал, то выпустят, если плохо, то нет. Или наоборот. Руководство больницы было уже в курсе дела, и на мою просьбу о характеристике дало положительный ответ. Было устроено совещание — главврач, парторг, председатель месткома и заведующий отделением. Характеристику написали, но на руки мне ее не дали, а сказали, что отвезут в ОВИР. Из суеверия я не стал готовиться к отъезду раньше времени, а решил, что начну собираться тогда, когда получу официальное разрешение. Через две недели после подачи документов я уже узнал, что мне разрешат выехать. У меня был приятель, который работал на секретном заводе. Через две недели после подачи мною документов его вдруг вызвали в первый отдел завода, то есть в местный отдел КГБ. "Вы знаете Рубина?" — "Да, знаю". — "Что он из себя представляет?" Мой приятель охарактеризовал меня положительно,

обойдя, конечно, мои убеждения. Тогда кагебешник ему говорит: "Да, нам известны все эти его достоинства. А знаете ли вы, что он человек нехороший и опасный? Знаете ли вы, что он уже отсидел шесть лет за государственные преступления? В этом году он опять напрашивался получить срок. Но мы, собственно, вызвали вас, чтобы сообщить вам следующее. Скоро он уезжает в Израиль, и уедет навсегда. Вы, конечно, понимаете, где вы работаете, что представляет собой наш завод. Если будет малейшая утечка информации, то, понятно, вся ответственность ляжет на вас". Через день я узнал об этом разговоре, но все же готовиться к отъезду не стал. Мои вещи были разбросаны по разным квартирам. Их надо было рассортировать, отобрать нужное. Хотя принципиально вопрос о моем выезде был решен уже через две недели, но все оформление было затянуто, и лишь через два с половиной месяца мне сообщили, что вопрос мой решен положительно, и я могу завтра прийти за визой. Я сразу же побежал на работу увольняться. Позвонил друзьям, что получил разрешение, и считал, что одной ногой я уже в Израиле. Но когда на завтра я пришел за визой, начальник ОВИРа вдруг говорит: "Знаете, вопрос о вас, оказывается, окончательно еще не решен. Завтра должна быть еще одна комиссия, и она решит вашу судьбу". Можно представить мое состояние. Я никогда не чувствовал, где у меня сердце, но здесь оно у меня так сжалось, что я едва удержался на ногах, схватившись за край стола. Кое-как пережил ночь, а на следующее утро побежал снова в ОВИР. Там часа два мне пришлось ждать приема и, наконец, начальник ОВИРа вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сказал: "Ну вот, все". У меня сердце снова екнуло: что все? "Вам разрешили уехать". И со злобой: "Лучше убирайся в свой Израиль, чем отравлять здесь сознание советской молодежи".

Мы уже знали, что активистов отпускали легче. Власти хотели избавиться от активистов еврейского национального движения, обезглавить его, но было уже поздно. Национальное возрождение началось, и ничто уже не могло остановить его. На месте уехавших активистов появились новые, которые намного превзошли своих предшественников.

Обычно уезжающим давали по 2 месяца на сборы. Мне же почему-то дали всего 12 дней, но визу я получил на день позже, выехал на день раньше, а из оставшихся 10 дней 3 дня ушли на передачу кабинета на работе, 3 дня на поездку в Москву для оформления визы и других документов, и на сборы у меня осталось всего 4 дня, 4 дня — а я еще не начинал собираться. После подачи документов я строил планы из расчета, что у меня будет 2 месяца на сборы. Я хотел съездить во многие города попрощаться с друзьями, все обговорить и обсудить. Но КГБ именно этого не хотел. Как только я сдал свой кабинет и уволился с работы, я поехал в Москву, оформил визу в голландском и австрийском посольствах, обменял 90 рублей на доллары и отправился за билетом. Я не хотел брать билет на последний день, так как если по какой-либо причине самолет не сможет вылететь, виза будет просрочена. Поэтому я взял билет на предпоследний день. В Минске я колесил на такси по городу, собирая свои вещи. Сидел ночами, сортировал бумаги, распределил, что кому отдать. Вещей у меня набралось два чемодана, с ними я и приехал в Израиль.

Я на такси разъезжал по городу, чтобы попрощаться с друзьями. Забегу минут на 20, запишу все, что надо, расцелуюсь и на той же машине еду к следующему.

Несмотря на то, что я почти со всеми друзьями распрощался, многие из них пришли на вокзал проводить меня. После Шестидневной войны я был первым, кому посчастливилось получить разрешение на выезд. Люди тогда еще не привыкли к провозам, не знали, как будут реагировать власти. И они знали, что провожают меня не только друзья, но и кагебешники. Но это их уже не пугало. Некоторые на завтра прилетели еще и в Москву на провозы. В Москве меня встретили московские друзья. Приехали проводить меня друзья и из других городов. У многих из них было смешанное чувство радости за меня и белой зависти. Проводы в Москве устроили большие, шумные. Были речи, пели израильские песни, танцевали — все это продолжалось до поздней ночи. Возвращались мы домой последним поездом метро и в нем продолжали петь израильские песни и танцевать. У нас был портативный магнитофон с израильской музыкой, который звучал на полную мощность — и все

это мы делали открыто, не скрывая своих чувств. Провожали меня не только евреи, но и русские друзья.

Я родился евреем и хочу остаться им. Все, что связано с еврейством, мне дорого и близко, ибо это мое, как и я частица его. Я хотел бы видеть свой народ могучим, единым, лишенным каких бы то ни было пороков, но я люблю его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Я никогда не считал и не считаю, что евреи лучше других, я никогда не умалял достоинств других народов, я просто лютей враг антисемитизма. А то, что некоторые народы в своей массе являются антисемитскими, так это уж не моя вина. Вместе с тем мне чуждо и противно, когда некоторые еврей-обыватели прикрывают свою посредственность именами великих соплеменников.

Назавтра утром еще раз проверяю все записи и бумажки. Приходят все новые и новые люди, дают свои адреса для вызова. Все просят не молчать там, сделать все возможное, чтобы помочь им уехать. Они хотят услышать голос солидарности своих братьев, голос этот должен не умолкать и быть принципиальным. Я прекрасно понимал их. Не раз я испытывал чувство одиночества и заброшенности, а это — самое тяжелое чувство. Только тогда, когда евреи в России будут знать, что они не одни, что у них есть братья, которые думают о них, которые делают все возможное для их спасения, — только тогда у них будут силы, стойкость и надежда. Помню, после выхода книги Симонова "Живые и мертвые" в военной академии им. Фрунзе проходила читательская конференция. Автор тогда между прочим сказал (цитирую по памяти): "Остается психологической загадкой, как крупные военачальники, прошедшие подпольную борьбу в царской России, участники гражданской войны, люди, которые, окажись они в немецком плену, могли бы выдержать самые нечеловеческие пытки, как эти люди, которым никак нельзя отказать в мужестве, оказавшись в советской тюрьме, были совершенно морально разбиты. Они оговаривали себя, друг друга, своих близких друзей, дети — своих отцов и жены — своих мужей". И он добавил: "Чувство одиночества и покинутости, отсутствие моральной поддержки парализовало их волю, силы, самообладание".

Прощай, родина-мачеха!

После того, как я все записал, мы поехали в Шереметьево. Там уже ждала меня большая группа друзей и знакомых. Прощаюсь с друзьями. Последние объятия, поцелуи и наставления. На просмотре багажа я раскрыл свои чемоданы, сумки, и как будто все прошло нормально. Вдруг кто-то подошел к проверяющей мои вещи таможеннице и что-то шепнул ей на ухо. Она спрашивает: "Вы будете Рубин?" — Я говорю: "Да, я". — "Тогда пройдите еще в ту комнату". Но вещи, поставленные на конвейер, уже уплыли за ограду. Я вошел в указанную комнату лишь со своей папкой, в которой были билеты и документы. Мне велели раздеться почти догола и устроили шмон не хуже тюремного. Но при мне уже ничего не было такого, что бы могло их заинтересовать. Единственное, что они у меня изъяли — протокол обыска во время моего ареста. Но это было уже не столь важно для меня. Объявили посадку на мой самолет. Мне велели быстро одеваться и идти на посадку. Когда я вышел из комнаты, меня ждал один из моих друзей, которому удалось проникнуть за ограду, где находились пассажиры после таможенного досмотра. Он мне предложил взять с собой сверток с проявленными фотопленками. Я знал об этих пленках, знал, что на них имеется гриф "секретно" и шапка Комитета госбезопасности. Этот сверток мог мне стоить 10 лет, но в тот момент я совершенно не думал о тюрьме, а лишь о том, что одной ногой я уже в Израиле, и вот могу лишиться этого, быть может единственного шанса в жизни попасть на родину. Но все прошло благополучно, сверток был привезен мною без каких-либо осложнений.

Я прошел последнюю пограничную проверку и вышел на летное поле. В аэропорту есть специальный грибок, на котором стоят провожающие, там были мои друзья. Они пели песни и махали мне на прощанье — но уже как израильтянину. Автобус отвез меня к самолету австрийской авиакомпании. Я поднялся по лестнице, посмотрел в последний раз на "родину"-мачеху и вошел в самолет. Я сел на свое место, и все еще не верилось, что я уже на свободе. Вскоре взревели моторы, самолет взял старт, набрал скорость, и я оторвался от "родной" земли.

Август 1972 года, Иерусалим